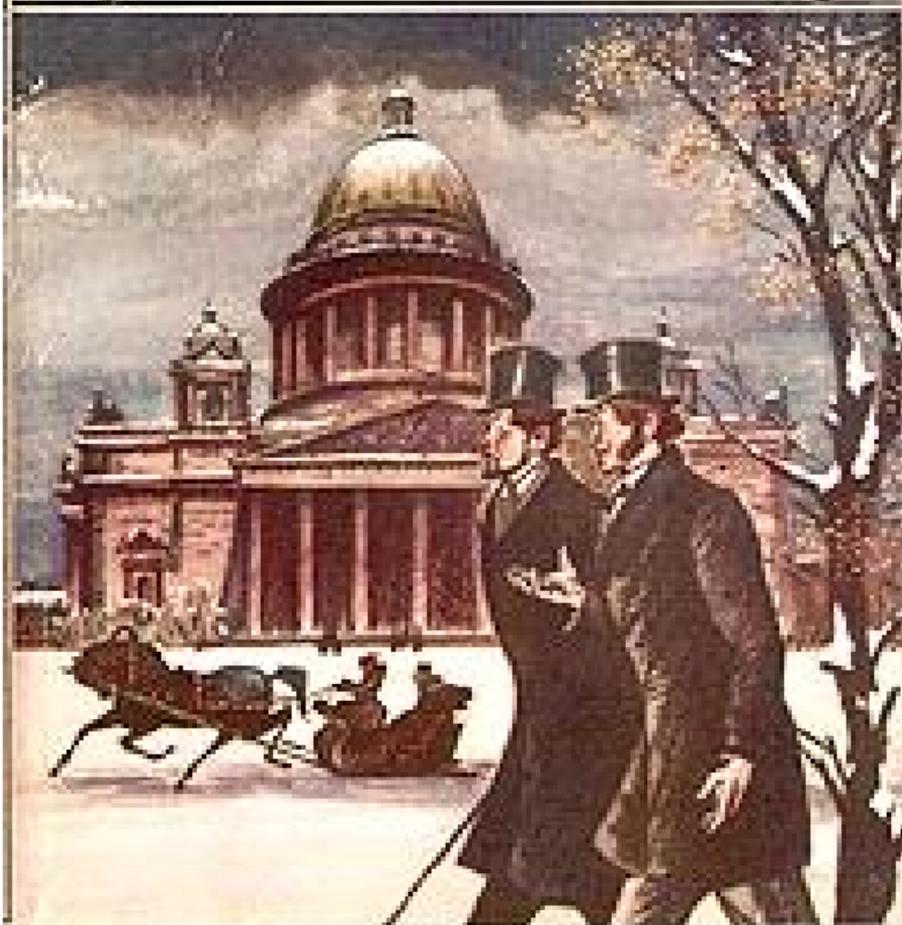


И. И. ПАНАЕВ



ИЗБРАННАЯ ПРОЗА

Иван Иванович Панаев

Раздел имения

Иван Иванович Панаев (1812 — 1862) вписал яркую страницу в историю русской литературы прошлого века. Прозаик, поэт, очеркист, фельетонист, литературный и театральный критик, мемуарист, редактор, он неотделим от общественно-литературной борьбы, от бурной критической полемики 40 — 60-х годов.

В настоящую книгу вошли произведения, дающие представление о различных периодах и гранях творчества талантливого нраво- и бытописателя и сатирика, произведения, вобравшие лучшие черты Панаева-писателя: демократизм, последовательную приверженность передовым идеям, меткую направленность сатиры, наблюдательность, легкость и увлекательность изложения и живость языка. Этим творчество Панаева снискало уважение Белинского, Чернышевского, Некрасова, этим оно интересно и современному читателю.

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0013
III.....	.0033
IV.....	.0046

Иван Иванович Панаев

**Раздел имени
Отрывок (Из записок
благонамеренного человека)**

Когда я подъезжал к своей деревне, ве-
...**К**чер был ясный и тихий, а воздух рас-
творен благоуханием, точно весной. По мере
приближения моего к моему наследию мне
все становилось приятнее, и даже лошадки
мои стали пободрее: видно, они, сердечные,
почуяли близость стойла. Доброй рысцей бе-
жали они по узенькой гладкой проселочной
дороге; пристяжные извивались в кольца и
мордами задевали наливавшиеся колосья
ржи и ячменя. Тот год был отменно урожай-
ный. Любо было смотреть на полосатую
степь, засеянную хлебами: рожь сияла, как зо-
лото, а подымалась в рост человеческий; яч-
мени же еще зеленые, но такие тучные, что в
иных местах полегли от тяжести колосьев, а
между ними красные полосы гречихи, покры-
тые сверху серебряными цветочками. Овсы
были, правда, в тот год немного плоховаты.
«Ну, да не все же вдруг, — подумал я, — и за
то, что есть, надобно благодарить бога: все мы
зависим от его правосудной воли. Он нас на-
граждает, он и лишает нас, а ропот — есть

грех...» Вот он, деревянный домик, немного нагнувшийся на одну сторону от ветхости, — место моего рождения; вот роца за этим домиком — место моих детских забав; вот речка Утка. Утка! Утка! в душный летний день я, бывало, купался в водах твоих! по твоей гладкой поверхности спускал кораблики! А этот густой восьмидесятилетний вяз перед домом... Господи! у меня так и забилося сердце, так и закапали слезы. Кибитка остановилась у подъезда, и я перекрестился.

Если бы обладал я самым бойким и красноречивым пером, и тогда не мог бы описать того, что почувствовал, войдя в комнаты, особенно в спальню матушки, где оставалось все, как было при ней. В углу старинный большой киот, и в нем образа в почерневших от копоти старинных ризах с каменьями; и перед каждым образом свеча желтого воска; диван работы домашнего столяра нашего, обитый ситцем с изображением памятника Минину и Пожарскому; шкаф со стеклами, в котором стояли никогда не употреблявшиеся парадные чашки; круглое зеркало с голубем наверху...

Воспоминание охватило меня со всех сторон; но к приятности, ощущаемой мною, присоединилась грусть, потому что я в первый раз вполне постигнул невыгоду одиночества и то, что дом без хозяйки все равно, что тело без души. Пыль густым слоем покрывала мебель, а паутина висела около зеркала и киота.

В некотором волнении я вышел из дома прямо в рощу. Здесь каждое дерево, каждый куст были мне знакомы. Эта береза посажена дедушкой, этот клен — батюшкой, а этот куст — матушкой. Под этою сосною батюшка очень строго меня наказывал, за что матушка очень рассердилась на него; за этими кустами барбариса я прятался от своей няньки, которая оглашала всю рощу своими криками, зовя меня к маменьке учиться. «Отчего все прошедшее имеет такую необыкновенную приятность?» — подумал я.

Через два дня соседи мои узнали о моем приезде, а на третий день утром приехал ко мне врач нашего уездного города. Он был человек моих лет, из немцев, впрочем, только по имени и по фамилии, а по манерам и по всему нельзя было отличить его от нашего

брата русского; рост имел средний, волосы темно-русые и карие глаза, которых зрачки бегали из стороны в сторону с невероятною, можно сказать, быстротою, что всегда поражало меня в его физиономии.

О свойствах души его в то время я еще не знал ничего положительного; несмотря на то, мне казалось, что он человек кроткий и услужливый, почему я и принял его с изъявлением непритворного удовольствия. Обменявшись приветствиями, мы сели друг против друга.

— Что новенького, Христиан Францевич, в нашем уезде? — спросил я его.

Он вынул из кармана табакерку и предложил мне понюхать табаку.

— Новенького-с?.. Да. Старичка-то Коробова знавали вы али нет? Добрая был душа покойник! мы все по воскресеньям у него обедали: я, исправник, судья и все наши. Бывало, тотчас после обедни и шлет за нами...

— Очень знал. Пользовался ихним вниманием. Ну, скажите, бога ради, что наследники-то склонились ли к полюбовному разделу?

— Попролам с грехом приступили к делу, и

то за несколько дней до вашего приезда.

Правда, сундуков пять, шесть поразрыли. Комедия, я вам скажу! Меня тоже втянули: один из наследников, человек безответный и благоденственный такой, не хотел лично связываться с своею роденькою, говорит: возьми от меня доверенность; делать нечего, думаю, и не хотелось, а взял... Как вы поживаете? Надолго ли к нам?

— Хотелось бы и подольше собственными глазами обозреть все. Но что делать? ведь нельзя: человек служащий, занимаешь пост. Нештатные чиновники совсем другое, и ответственности нет; им ничего, разница большая! А позвольте узнать, многие ли наследники налицо?

— Пять налицо, а три поверенных, в том числе и я. Дом-то небольшой, они там как пиявки в банке; впрочем, общий обеденный стол довольно хороший и вино петербургское. Покойник оставил богатейший погреб. Есть шампанское — рублей по 15 бутылка в Петербурге стоит, такого совсем розового цвета. Очень приятное вино.

— Знаете, Христиан Францевич, вино по

комплекции: иное совсем пить не можешь, а другого сам желудок требует.

— Конечно... Наследники-то ни за что не приступили бы к полюбовному разделу, если бы не гражданская палата. Двухгодичный, положенный законами срок истекает: заплатить восемьдесят тысяч штрафа, так и в затылке зачесется; они же все такие, между нами будь сказано, скряги. Ихние дамы все лоскутки так и режут на мелкие части, настоящую лапшу делают. Шаль или английский платок попадетя под руки — так и шаль, и платок пополам. Если бы не дамское дело, иной раз лопнул бы со смеха. Мы с Матвеем Ивановичем исподтишка над ними порядочно подтруниваем. Вы, может, изволите быть знакомы с Матвеем Ивановичем Лакаевым?

— В Петербурге я имел удовольствие встретиться с ним в одном доме.

— Он человек очень солидный и рассказывает, что часто награды по службе получает. Петр Петрович — самый меньший из наследников, который всегда живет в Петербурге, свистун, должно быть, какой-нибудь, — просил его приехать вместо себя на раздел и дал

ему такую доверенность, что он по ней все может. Тонкий человек Матвей Иванович, хорошо свои дела обрабатывает.

— А Илья Петрович тоже поверенного прислали?

— Он сам и с супругой уже гораздо более двух месяцев здесь, и Марья Дмитриевна, вдова Гаврилы Петровича, Михаила Петрович с супругой, Николай Петрович, Федор Петрович...

— Так Илья Петрович здесь? Более мой, скажите! Мы ребятишками вместе с ним в лапту игравали! Да и как играл он! Во всех гимнастических упражнениях он был у нас первый! Супруги его не имею удовольствия знать, братцев также не знаю, а его!.. на одной лавке сидели, Христиан Францевич! да ведь какой забавник был; зато и доставалось ему, бывало. Он, кажется, годками четыремя постарше меня...

Давно не видал его... Что, он все такой же толстый?

— В корпусе толстоват, а лицо средственное, по пропорции.

— Илья Петрович! Скажите! Любопытно

взглянуть на него.

— Что ж? поедемте сегодня в Плющиху обедать. Несмотря на то, что мне необыкновенно хотелось увидеть Илью Петровича, я задумался при этом предложении.

«Обедать!» Строго соблюдая все приличия в продолжение всей моей жизни и будучи уверен, что от несоблюдения их и от необдуманности происходят по большей части наши различные неприятности и несчастья, после минуты молчания я отвечал:

— Не полагаю, чтобы приличие дозволяло ехать в первый раз обедать, не сделав сначала утреннего визита и не познакомившись предварительно с другими господами наследниками.

— Полноте, что за церемонии в деревне. Мы живем запросто, а вы привыкли к столичному этикету.

Замечание это показалось мне небезосновательным. Подумав немного, я убедился, что в деревне точно не может и не должно существовать такого строгого этикета, как в столице или губернском городе.

Плющиха находится в пяти верстах от моей деревни. Мы доехали скоро, тем более, что дорога шла под гору. Христиан Францевич первый вышел из брички и сделал, помнится, остроумное замечание насчет ветхих ступенек лестницы у подъезда дома.

Мы вошли в залу.

Надобно упомянуть, что до сей минуты ни разу еще не случилось мне лично находиться при каком-либо разделе; оттого зрелище, представившееся мне, оставило во мне сильное впечатление.

Зала была средней величины, продолговатая и невысокая, а оштукатуренный потолок и стены немного закопчены от времени; известно, что низкие комнаты всегда скорее копятся. Во всю длину залы стоял стол простого дерева, на котором навалены были груды разных вещей, как то: старинные камзолы, обшитые позументом, бархатные и шелковые французские кафтаны, милиционные мундиры, панталоны — драдедамовые, плисовые, демикатонные и другие. В числе прочего

заметил я несколько кусков холста, роброны, мантильи и прюнелевые башмаки на высоких и узких каблуках.

Кругом стола сидели наследники и наследницы; позади же их стульев стоял целый строй лакеев в длинных сюртуках из зеленого домашнего сукна. Лакеи эти были, как на подбор, все молодцы, плотные и высокого роста.

Раскланявшись на все стороны, я остановился, ища взорами Илью Петровича; но он предупредил меня, вскочил со стула и подбежал ко мне с распростерыми объятиями.

Лет семь не видал я Ильи Петровича. Он, показалось мне, много изменился: волосы на голове с затылка уже начинал зачесывать вверх, что придавало ему вид более степенный; в глазах его не было заметно той живости, которая всегда отличала его от других; по всему должно было заключить, что он был большой хозяин и что недаром прорезались на его лбу три глубокие складки. В корпусе он заметно потучнел, чему я, впрочем, нимало не удивился, убежден будучи несколькими примерами, что люди, оставившие службу и пользующиеся свободой и деревенским воз-

духом, в короткое время незаметно поправляют свое здоровье.

Три раза поцеловал меня Илья Петрович, не выпуская из своих объятий; потом минуты две молча и пристально смотрел на меня.

— Все такой же, как и был, — произнес он, — и глаза те же, и все, — разве что похудел только немножко. Душевно, братец, рад видеть тебя... Ну, а...

Но в эту минуту зазвенел тоненький, раздражительный голосок и прервал приветствие Ильи Петровича:

— Этот камзол надобно пополам: ведь он обшит не мишурным, а золотым позументом; позумент можно спороть и отдать на выжигу.

— Пополам, пополам, все пополам! — громким голосом закричал Илья Петрович, отвращая свои взоры от меня и обращаясь к столу.

Спинка камзола затрещала.

— Я старый солдат, — говорил Илья Петрович, обращаясь ко мне, — меня в этом не надуешь; я сумею отличить мишуру от золота. Помнишь, братец, как я надувал тебя в школе оладьями: сахаром посыплю, да и продаю по

восьми гривен оладью? а?

— При этом Илья Петрович расхохотался. — Имею честь представить вам моего старого товарища и приятеля... Дашенька, ты, я думаю, по моим рассказам заочно знакома с ним?

Илья Петрович произнес мое имя, отчество и фамилию, обзрев своих родственников, сидевших вокруг стола. Дарья Яковлевна, которую он называл Дашенька, была его супругой.

Я, будучи в ту пору еще очень застенчив, молча отвечал на приветствия и рукопожатия и подошел к ручке Дарьи Яковлевны.

— Позвольте вам рекомендовать себя, — сказала она мне с самою тончайшею светскою вежливостью.

Я поклонился, отошел от нее, взглянул прямо... И — минута важная в моей жизни! — глаза мои встретились, сам не знаю как, с прекрасными темно-карими глазами дамы в отличном чепце с розовыми лентами, сидевшей у стола вместе с прочими.

Нельзя описать, какое приятное ощущение разлилось по всей моей внутренности от

одного ее взгляда. Магнетическое ли влияние, или другое что действует в таких случаях, не знаю: скажу только, что этот взгляд, скромный и приятный, видимо принимал участие в моей застенчивости и ободрял меня. Даме этой было на лицо лет около тридцати, — но об ней после.

— Недурно бы закусить, дружище! а у нас есть свежая икорка, — говорил Илья Петрович, — такой икорки и в Петербурге не найдешь. Мы, правда, закусили, да для тебя, пожалуй, закусим и в другой раз, — не беда. Фомка! к водке... Садиська, полюбуйся на наш дележ. В школе-то я деление знал плохо, а здесь немного понаучился.

Я сел. К слову скажу, что запах от залежавшегося в сундуках платья был резкий и неприятный; на меня, как пришедшего прямо с воздуха, этот запах подействовал, и я чихнул.

— Будьте здоровы! — раздался чей-то голос над самым ухом моим, и я почувствовал чью-то руку на моем правом плече. Оглянувшись, увидел я перед собою господина небольшого роста, немного сутуловатого, у которого голо-

ва, как я заметил впоследствии, имела изумительное свойство наклоняться и выдаваться вперед, прикасаясь теменем своим к сердцу того, с кем он разговаривал об интересных делах. Искусно сделанный парик, с небольшими завиточками, прикрывал его голову; большие черные глаза и бакенбарды, занимавшие по полущекке, придавали ему нечто мужественное; борода его, хотя тщательно выбритая, резко отделялась своею синевою от щек и лба. К нему очень шла табачного цвета с отливом венгерка, или, лучше сказать, архалук без аграманта и кистей, с крючками на груди; к этому архалуку пришиты были орденские ленточки, на которых висели два ордена средней величины и дворянская медаль. — Это был Матвей Иванович Лакаев.

Услышав приветствие его на мое чиханье, я, соблюдая светские приличия, встал со стула, поклонился и поблагодарил его, а он протянул мне свою руку и с большою приятностью сказал:

— Необыкновенно радостная встреча увидеть вас здесь совершенно неожиданно. Мы с вами в Петербурге имеем общих знакомых и

часто, если изволите помнить, видались у его превосходительства Конона Карповича: могу сказать, что он истинный мой благодетель и, сам не знаю за что, любит меня и жалуется; жена моя также вхожа к нему в дом; он и ее, и дочь мою ласкает, по доброте своей... А вы здесь, вероятно, изволите находиться по домашним обстоятельствам?

— Да-с, я приехал в отпуск: захотелось на свою деревню взглянуть. У меня матушка скончалась, так надо устроить хозяйство.

— Прекрасное, я вам скажу, дело. Хорошие места в округности: ведь ваша деревня здесь поблизости? Скажите, пожалуйста, кто бы мог подумать, что мы с вами в такой отдаленности встретимся? Я тоже совсем нечаянно попал сюда. Петр Петрович просил убедительнейше принять доверенность, — я, по деликатности своей натуры, отказать ему в этом посоветился; выгоды же никакой нет, еще свои деньги проездишь...

Он говорил с большим чувством.

— Ах, какая вещица! — воскликнула дама с раздражительным голосом, отрыв в куче жилетов и других вещей веер, на коем довольно

мило нарисованы были пастушки. — Хорошенькая вещица! — Говоря это, дама рассматривала веер и повевала им около своего лица.

Уездный лекарь вдруг обратился к ней и сказал ей с весьма неприличною улыбкою:

— А что, сударыня, и веер-то не разломать ли пополам?.. Все подробности этого дня сильно врезались в моей памяти, ибо день этот был решительным в моей жизни.

В эту самую минуту, когда Матвей Иванович, кончив разговор со мною, стал разговаривать с Христианом Францевичем, лакей на большом подносе принес завтрак, а другой за ним шел со штофом водки и с рюмкою. Илья Петрович вслед за водкою потащил меня в другую комнату.

— Вот, братец, жизнь, — говорил мне Илья Петрович, прихлебывая травник, — вот жизнь... а? что это такое? и обедаешь не в пору, и завтракаешь не вовремя. Все от этого раздела наыворот; не будь этого раздела, все шло бы своим чередом.

Черт знает, я сегодня в третий раз завтракаю. Спрашиваю тебя, братец, будешь ли тут обедать? Прежде четырех часов и не думай

кончить то, что на столе навалено.

Вот тебе и жизнь!

К исходу четвертого часа стали, однако, постепенно убывать вещи, лежавшие на столе. Раздел был жеребьевый, а в жеребьевом разделе сначала делимые вещи приводятся в ценность, поровну раскладываются в кучи, по числу наследников, потом на каждую кучу кладется билетик с номером; наконец свертываются соответственные этим билеты с номерами, другие же с фамилиями наследников, — номера кладутся в одну посудину, фамилии в другую и вынимаются обыкновенно посторонним лицом. Господин высокого роста, длинный, седой, в синем сюртуке по щиколотку, ловко свернул билеты в трубочки и положил их в попавшиеся ему под руку мою фуражку (при чем он извинился) и в картуз Христиана Францевича. Засим один из лакеев притащил в залу дворового мальчика с волосами цвета поспелой ржи, который, всхлипывая, смотрел исподлобья и утирал нос кулаком. Лакей подвел его к картузу и фуражке.

— Вынимай один билет прежде из картуза, а другой из фуражки, — сказал басом госпо-

дин в синем сюртуке по щиколотку.

Мальчик заревел, опуская руку в картуз.

Когда все жеребья были вынуты мальчиком и он, немного успокоенный, хотел выйти из комнаты, чтобы скорее присоединиться к своим товарищам, которые с разинутыми ртами ожидали его на господском дворе, Матвей Иванович, вероятно, для доставления удовольствия обществу, подбежал к мальчику, сдернул с себя парик и начал делать перед ним разные гримасы. Все расхохотались, исключая меня и дамы с темно-кариими глазами, у которой был чепец с розовыми лентами. Она даже не улыбнулась. Она поняла всю неприличность такого поступка. В самом деле, позволительно ли чиновнику в известных летах, имеющему уже знаки отличия, до такой степени унижать себя: прыгать перед глупым мальчишкой и строить из своего лица такие рожи, что иные маски благовиднее?

В четыре часа ни одной ниточки не оставалось на столе: все имущество, лежавшее в нем, разнесено было в восемь различных углов. Двенадцать лакеев раскладывали на этот стол скатерть, не совсем чистую и несколько

дырявую; это мне показалось странным, но я узнал после, что столовое белье было все разделено и никакой общей, кроме этой, скатерти не оставалось. Как сию секунду вижу перед глазами лакея, захватившего несколько тарелок, споткнувшегося о порог буфета залы и уронившего две тарелки, которые разбились вдребезги с страшным шумом. Илья Петрович стоял в эту минуту возле меня и разговаривал со мною об устройстве риги. Рассердясь на неосторожность лакея, он перебил начатый им разговор, плюнул и сказал мне:

— Вот, братец, тебе и наследство: еще до раздела все перебьют, бестии! Что, у тебя где глаза-то, Васька? — закричал он, строго смотря на лакея.

— Во лбу, сударь, глаза... где же? — отвечал Васька. — Ведь я не ваш, а Петра Петровича. Еще от своего барина худого слова не слыхал, а вы... — И он продолжал ворчать, удаляясь в буфет.

— Будь он у меня в эскадроне, — говорил Илья Петрович, — Я бы его! показал бы ему Петра Петровича!.. Такая разнобоярщина, — в ус не дуют, грубияны!.. До обеда, я чай, не

успеешь выкупаться, а жара, братец, такая, что черт знает, хоть целый день в воде сиди!

И точно, в тот год с июля месяца сделались необычайные жары, о чем сказано было, впрочем, и в «Брюсовом календаре». От продолжительной засухи все луга выгорели, так что, бывало, идешь по лугу, а нога скользит, как на паркете в комнатах нашего директора. Мух было столько, что боже упаси! от несносных мух мы не знали куда деться. Ничего нет неприятнее на свете этих насекомых. Часто думал я и теперь думаю, к чему служит существование таких гадин, как мухи, блохи и другие им подобные...

Едва сели мы за стол и только что я занес ко рту ложку супа, — глядь, а в супе барахтаются три мухи; едва Илья Петрович успел мне налить рюмку виссанта, вино цвета мутного и вкуса неприятного, — глядь, и в виссанте муха; но что было всего досаднее, я большой охотник до кваса, вот и налил я себе квасу, думая этим несколько освежиться от жара, — а вместе с квасом так и полились проклятые мухи.

Разговор за обедом касался большею ча-

стью предметов хозяйственных, толковали, однако, и о литературе немного. Я заговорил о «Благонамеренном». В то время еще Александр Ефимович Измайлов издавал «Благонамеренный» — журнал весьма хороший по-тогдашнему. (Нынче обо всем судят совершенно иначе и все старое почитают дурным.) Самое название журнала зарекомендовало публику в его пользу и ясно показывало намерение почтенного издателя. Во всех сочинениях прозаических или стихотворных, помещенных в «Благонамеренном», строго соблюдаема была моральная цель. Младшие писатели всегда имели глубокое почтение к старшим и без советов их и наставлений не печатали ни одного своего произведения. Горько каждому благомыслящему человеку, горько смотреть, что делается в наше время в литературе! мораль не уважают, и молодые писатели, пробуящие еще только перо, с оскорбительными насмешками отзываются о почетных наших стихотворцах и прозаиках, тогда как достоинство их несомненно, ибо признано не только публикою, но и многими учеными обществами, в которых они состоят членами. Не сты-

жусь быть старовером и откровенно скажу, что новейшие стихотворения невозможно читать: в них нет никакой мысли и в выражении чувствований ни малейшей нежности, — все только одни картины, ни к чему не ведущие, из которых, как ни бейся, не извлечешь никакого поучения. Долго ли все это продолжится — не знаю; я не сочинитель, следовательно, в чужие дела вмешиваться не буду... Так я заговорил о «Благонамеренном» и к слову прочел оттуда стихи, всегда особенно нравившиеся мне, под заглавием: В альбом к запутанному в сети Амуру:

*Под сению любви я проводил свой
век,
Плененный красотой твоей, моя
Пленира,
И дни мои Борей свирепый не пре-
сек
Затем, что о тебе моя гремела
лира.
И ныне вижу я, царица красоты,
Что сам Амур в тебя влюбился
И очутился
У ног твоих, неся в руке цветы!
Едва лишь на тебя малютка за-*

гляделся,
Своею сетью сам оделся
И уж с тех пор на миг тебя не по-
кидал,
Твоим рабом божок крылатый
стал,
Следя повсюду за тобою,
В деревне, в городе, — с колчаном
и стрелою!

Чтец я был недурной, по уверению многих, и в этот раз во время декламации моей видел одобрение на многих лицах, особенно на лице той дамы, у которой были темно-карие глаза и чепец с розовыми лентами. Она с чувством ловила каждое слово стихотворения, и лицо ее с каждым стихом принимало более и более нежное выражение. По какому-то неясному движению сердца при стихе:

Твоим рабом божок крылатый стал — я обратился невольно к ней. Она покраснелась, потупила глаза в тарелку, поспешно взяла ножик и вилку и начала разрезать говядину под красным соусом.

— Какое милое эротическое стихотворение! — сказала она минуты через две, взглянув на меня с тою привлекательною застен-

чивостью, которая служит верным признаком хорошего воспитания.

Тонкое замечание дамы с темно-карими глазами заронилось мне в душу. «Каким изящным вкусом наделена она!» — подумал я.

После обеда я подошел к ней.

— Вы изволите быть охотницей до чтения? — спросил я ее.

— Это моя страсть, — отвечала она, — хозяйство и книги; я уж так была приучена с малолетства.

— Это похвально-с. («Она должна быть превосходной хозяйкой, это сейчас видно», — подумал я.) Ржаные хлеба что-то нынешний год совсем не удались, — произнес я после минуты молчания, — вот на яровые так нельзя пожаловаться.

— Уж ржаного хлеба нынче ни зерна не будет. Поверите ли, в Бакеевке, что мне теперь досталась, хоть шаром покати.

— Неужели Бакеевка вам досталась? — спросил я с радостным изумлением. — Моя Орловка только в четырех верстах от Бакеевки. Я должен благодарить судьбу за доставле-

ние мне такого соседства.

Она покраснела.

— Очень приятно, — сказала она, и каким голосом произнесено было «очень приятно»! — А вы на житье сюда или на время?

Зная, что по истечении отпуска я должен был отправиться в Петербург, я отвечал, сам не зная отчего, трепещущим голосом:

— Не знаю.

— После столичных увеселений и развлечений, — продолжала она, — наша деревенская жизнь покажется не такою деликатною. Это я знаю по собственному опыту, потому что прежде жила в столице. Провинция уж все провинция, как ни говорите.

— Деревня имеет свои приятности; воздух здесь совсем другой. Я так чувствую себя гораздо лучше на свежем воздухе, особенно когда можно отдохнуть после занятий по службе; к тому же уединение...

— В самом деле. Вы, верно, меланхолического расположения?

Меланхолического! это слово мне никогда не приходило в голову. Ведь именно я всегда был меланхолического расположения! Она

угадала мой характер. Робость, которую я ощущал в присутствии женщины, в первый раз смешивалась во мне с каким-то приятным ощущением, когда я был с нею: продолжить разговор я не мог, а мне хотелось постоять возле нее, послушать ее.

В эту минуту Илья Петрович ударил меня по плечу.

— Что, брат, уж ты познакомился с Марьей Дмитриевной? Вот счастливица-то у нас на разделе, стоит только задумать ей: хочу этого — и вернее смерти достанется это. Рекомендую вам его, Марья Дмитриевна. (Я поклонился и покраснел, она улыбнулась.) Ей-богу, славный малый, да и к тому же сосед вам. А скромник какой!

Бывало, я...

Есть люди, совершенно не умеющие вести себя при дамах и позволяющие себе говорить вещи, которые, по моему мнению, неприличны даже и в мужской компании.

Илья Петрович принадлежит к таким людям. Чтобы удержать в этот раз его нескромность, я кашлянул. Он заикнулся. К счастью, очень вовремя подошел к нему Хри-

стиан Францевич. Глаза доктора, по обыкновению, двигались из стороны в сторону, и правый глаз он прищуривал самым странным образом.

— А что, Илья Петрович, матрас в диванной на кушетке, обитый желтым ситцем, не нужен вам? Уступите-ка мне его без раздела, для тарантаса. Другие наследники все согласны. И Марья Дмитриевна, верно, согласится?

— С большим удовольствием, — отвечала она.

— Ну, уж я, черт возьми, не постою: уступать так уступать! — воскликнул Илья Петрович.

Доктор, кажется, был доволен.

Матвей Иванович подскользнул к нему. Он приветно погрозил ему пальцем.

— Умеете, Христиан Францевич, — заметил он, — и словцо ввернуть вовремя. Я так прошу-прошу Илью Петровича, чтобы согласился уступить мне кусок синей бомбы с цветами. Я, пожалуй, от денег не прочь, хоть сейчас выложу на стол. Оно не то чтобы какая-нибудь завидная материя, — старина, из моды вышла; дорогого купить не могу, а жене

нужно гостинца купить. На что вам эта материя?

— Об этом мы с вами поговорим после. — Илья Петрович, сказав это, подмигнул мне.

— После, то-то после, Илья Петрович! — Он вынул из кармана, поморщиваясь, табакерку. — Не хотите ли табачку? Я всегда покупаю у Головкина, этот табак идет и в иностранные земли.

Возвратясь домой часу в десятом, я разделся и лег в постель, но долго не мог заснуть. Мне было как-то неловко, я с бока на бок ворочался беспрестанно. «За тридцать лет холостая жизнь — настоящее бремя! — подумал я, поправляя подушку.

— И приласкать некому!..»

На следующее утро я был уже в семь часов на ногах и до девяти часов успел осмотреть ригу, мельницу, скотный двор и другие хозяйственные заведения. В девять часов, возвратясь домой, я почувствовал голод и спросил чего-нибудь закусить. Любимейшая закуска моя — это копченая ветчина, и никто так не умел коптить ее, как, бывало, покойная матушка. При этом любил я соленые грибки, которые под надзором маменьки приготавливали прекрасно. Мне подали вместо всего этого редьку и масло, притом не совсем свежее. Я невольно вздохнул и подумал:

«Вот что значит, когда нет в доме хозяйки».

От этой мысли я перешел к тому заключению, что человеку в известных летах, имеющему, по милости божией, свой кусок хлеба, непременно надобно жениться. К тому же, имея чин коллежского асессора, не стыдно сделать предложение. «В самом деле, не выйти ли в отставку?» Предлагая самому себе такой вопрос, я смутился. Уже так привык я к

моей регулярной жизни в Петербурге, к моей маленькой квартирке в Поварском переулке у Владимирской, к моему департаменту, к этой дороге от Поварского переулка до арки, что в Миллионной, даже к сторожу департаментскому, который снимал с меня шинель и прятал мои калоши в продолжение десяти лет ежедневно, — так привык, что вдруг, когда я только в мыслях оторвался от всего этого и вообразил, что буду жить совершенно по-иному, мне сделалось страшно, очень страшно.

«Но, — и тут я провел рукою по лбу, — но... не умереть же мне холостым! Кто будет ходить за мной, если я занемогу, если (и об этом надобно подумать), если я буду лежать на смертном одре — кто закроет мне глаза?» Слезы проступили у меня на глазах от таких мыслей. Первый раз я серьезно раздумался о своей будущности. Через полчаса я приказал заложить свою бричку.

— Пошел в Городню, — сказал я кучеру.

В Городню иначе нельзя было проехать, как через Плющиху. Какое-то таинственное чувство, совершенно непостижимое, влекло

меня в ту сторону, но я не решился сказать кучеру «в Плющиху».

Видно, кучеру моему показалось странным такое приказание, потому что он переспросил меня два раза: «Куда, сударь?» Городня — небольшая деревня, в которой не было и до сих пор нет никаких хозяйственных заведений. Подъезжая к Плющихе, я почувствовал неловкость во всем теле, и краска выступила у меня на лице; вынув из кармана щеточку с зеркалом, которую я имел привычку носить в кармане, оправил свои волосы.

У конюшен, направо, при въезде в деревню, стоял Илья Петрович в драгунском сюртуке с брусничным воротником, в нанковых серых шальварах и в белом пуховом картузе; он курил табак из коротенького чубука с преогромною пенковою трубкою, обернутою в замшу, придерживая ее правой рукой, а левой ероша усы свои. Против него стоял вкрадчивый Матвей Иванович; бородка его синела издалека; возле Матвея Ивановича Христиан Францевич; возле Христиана Францевича длинный медиатор в синем сюртуке по щиколотку, а возле медиатора какой-то молодой

человек приятной наружности, в голубом жилете. Это был также поверенный одного из наследников.

Рядом с ним стояли два господина среднего роста, худощавые, а между ними третий, пониже и потолще, — все три брата Ильи Петровича. Словом, полное собрание и наследников, и поверенных было тут налицо, за исключением Марьи Дмитриевны.

Прежде нежели я размыслил, что мне следовало делать и как отвечать на вопросы и приветствия, долженствовавшие посыпаться на меня со всех сторон, Илья Петрович замал обеими руками, увидев меня, отошел от толпы, остановился на середине дороги и закричал самым густым басом:

— Стой! кто едет? — потом, пресерьезно подойдя к дверцам моей кибитки, он сказал также серьезно, — пожалуйста подорожную прописать.

Все стоявшие тут господа, услышав это, громко расхохотались. Илья Петрович при всем общем залпе смеха также не мог выдержать и сам покатился со смеха. Я ничего не говорю о себе, но можете вообразить, что при

такой сцене я не мог не выйти из состояния раздумья, в котором находился.

— Вылезай-ка, брат, из кибитки, вылезай. Кстати приехал, а мы еще не завтракали: все лошадей делили, насилу кончили, а есть, я тебе скажу, жеребчики недурные. Мне достался один полово-серый, так уж мое почтение! Постой-ка, я велю его вывезть. Да вылезай же, братец.

— Я позавтракал дома, и вдруг что-то голова разболелась, захотелось проехаться, я проехал мимо... совсем нечаянно, не думал...

Я хотел показать, что понимаю приличия и знаю, что не водится в общежитии ездить ежедневно в тот дом, где один только хозяин коротко знаком, а прочие также хозяева, — но еще не короткие знакомые. В Плющихе же все наследники были равные хозяева. Когда я произнес: «нечаянно, не думал», Илья Петрович, поправив свой левый ус левою рукою, правую раза два ударил меня по спине и сказал:

Вздору-то не болтай,
А из коляски вылезай.

— Что, брат, каково? Мы и стихами гово-

рить умеем.

Добрый человек Илья Петрович, но о светскости и о приличии не имеет ни малейшего понятия! Я и вышел из коляски; только что я ступил ногою на землю, как Матвей Иванович подбежал ко мне, схватил мою руку и, потирая теменем своей головы около моего сердца, с вкрадчивою улыбкою произнес:

— Мы вас не выпустим. Как ваше здоровье? Как изволили вчера доехать? — Он ухватил меня за талию и на ухо шепнул мне: — Здесь, в провинции, когда встретишься с петербургским, так легче на душе станет, право.

Я поблагодарил его за внимание и поздоровался с прочими, сказав каждому какуюнибудь светскую безделку.

Когда через калитку, выходявшую на улицу, мы прошли к самым конюшням, Илья Петрович приказал вывести конюхам доставшегося ему полово-серого жеребца, чтобы показать мне. Жеребца вывели; он подошел к нему, погладил его по шее, посмотрел ему в зубы, прищелкнул языком и сказал мне:

— Конек, братец, знатный; ему невступно четыре года. Знаешь ли, какую я хочу дать

ему кличку?

— Какую?

— Вольтер! а? что скажешь?

При этом Илья Петрович засмеялся.

После того мы отправились к ожидавшему нас завтраку.

Дорогою от конюшен до дома Илья Петрович, шедший рядом со мною, все подшучивал над своим братом, который пришепетывал.

— А что, покончили ль свой дележ дамы? — с усмешкою заметил Христиан Францевич, поглядывая на Матвея Ивановича.

— Бьюсь об заклад, что еще не кончили! — закричал Илья Петрович. — Знаешь ли, братец, чем это они занимаются, что делят? — спрашивал он, обращаясь ко мне. — Во всех кладовых все углы перешарили, отыскивая там какие-то банки с столетним вареньем и бутылки с наливками, — и давай из одной бутылки переливать в другую, — чтобы всем досталось поровну. Да бутылки-то еще ничего, — авось либо и найдется наливочка, годная к употреблению, — а то варенье из банки в банку перекладывать: это какво? Впрочем, все женщины уже созданы на то. Серьезным

ничем заниматься не могут.

Сердце мое забилося, когда я вошел в залу; но в зале ни одной дамы не было. Там на полу сидели четыре лакея, необыкновенно раскрасневшиеся, и занимались перецеживанием наливок из одной бутылки в другую. Накануне в этой комнате попахивало залежавшимся платьем, в эту минуту так и бросался в нос спирт.

Дамы сидели в гостиной перед двумя ломберными столами, соединенными вместе, на которых расставлены были банки с вареньем и небольшие фаянсовые кринки. Илья Петрович угадал: они еще все продолжали делить варенье.

Я подошел к ручке Дарьи Яковлевны и почтительно раскланялся с прочими дамами.

— Милости просим садиться, очень рады вас видеть, — сказала Дарья Яковлевна, — извините нас, не претендуйте, что при вас будем заниматься таким делом.

Я сказал «помилуйте» и сел.

Марья Дмитриевна была очень задумчива и машинально разбивала ложечкой имбирное варенье, перед ней стоявшее. Нельзя опи-

сать, как она была мила в этот день! Как удивительно шло к ней лиловое платье с зелеными цветочками! Я посмотрел на нее и снова опустил глаза.

Илья Петрович несколько минут после меня вошел в гостиную. Когда Дарья Яковлевна увидела его, она вся переменялась в лице и с беспокойством вскрикнула:

— Ну, что? кончили? а каковы нам жеребцы достались?

— Славные, матушка, и полово-серый четырех лет наш! Вот конь! гордость какая!

При этом та дама, у которой был раздражительный голос, нахмурилась, а Дарья Яковлевна, казалось, успокоилась и обратила опять свое внимание на варенье.

— Изволили расставить на восемь частей, — сказал Христиан Францевич Дарье Яковлевне, — теперь, сударыня, только билетики, да и жеребий?

— Совсем расставлено. Части, кажется, все равные.

— А я полагаю, что совсем не равные! — воскликнула дама с раздражительным голосом, — имбирное варенье все на одну почти

часть положили; имбирное же варенье, сами знаете, редкое и дорогое. Я вас спрашиваю, Христиан Францевич, где теперь достанешь имбирного? Нигде в свете; а против него что поставлено? клубничное, малиновое, черная смородина, да и то еще такое, что прабабушка...

Дарья Яковлевна вспыхнула.

— На вас не угодишь! Извольте расставлять сами! Как вы лучше расставите? интересно посмотреть. Довольно смешно: имбирного варенья три кринки, а других вареньев сорок банок. Варенье все хорошее, — нужды нет, что старое: не бросить же его; можно подварить, так изойдет для гостей, которые по-проще.

— Для чего из-за этой малости спорить, сударыня? — возразил Матвей Иванович, обращаясь к даме с раздражительным голосом. — Извольте лучше бросить жеребьи: может, имбирное варенье и вам достанется, — почему вы знаете? На все судьба!

Жребии были брошены.

Одна кринка имбирного варенья досталась Дарье Яковлевне, а две Марье Дмитриевне.

У дамы с раздражительным голосом кровь на лице выступила пятнами. Она старалась скрыть свой гнев и не могла. С досадой толкнула она локтем одну из доставшихся ей банок с клубникой, встала с кресел и отошла к окну. Марья Дмитриевна, увидев это, также встала с своего места и подошла к ней.

— Мне достались две банки имбирного, — сказала она: и сколько нежности, уступчивости и доброты было в ее голосе! — Извольте, я вам с моим удовольствием уступлю одну, тогда у нас у трех будет поровну...

Она говорила, а я глядел на нее и думал: «Какая женщина! Боже мой, какая женщина!» — Маменька, дайте мне варенья! — закричал сын Марьи Дмитриевны, вбежав в комнату. Это был очень недурной собою белокуроый мальчик в ситцевой рубашке, с сумкой через плечо. Он до такой степени забегался в лошадки с дворовыми мальчишками, что потлил с его лица ручьями, и он едва переводил дыхание.

— До обеда нельзя, душаточка, лакомиться вареньем, — сказала Марья Дмитриевна, — но если хорошо будешь вести себя за столом,

то после обеда ложечки две получишь. Что это, как ты раскраснелся? Теперь не извольте ходить на улицу, а сидите здесь. Как не стыдно носик не вытирать! — И, говоря это, Марья Дмитриевна вынула из его сумочки носовой платок и вытерла им нос сына.

— Маменька, позвольте еще побегать.

— Нет, нет; изволь сидеть и быть послушным.

Я подошел к Мише, который опустил голову и нахмурился, потрепал его по щеке и поцеловал. Марья Дмитриевна, увидев это, не могла скрыть своего удовольствия.

— Оставьте его, — произнесла она с улыбкой, одной ей свойственной, — он капризный мальчик и не заслуживает ласк.

— Да чем же я капризен, маменька? — говорил Миша, всхлипывая.

Марья Дмитриевна подошла ко мне.

— Не подумайте, — сказала она самым приятнейшим тоном, — чтобы я была матьблловница. Нет, уж это не в моих правилах! Я его часто и строго наказываю; но все, знаете, женское дело: он меня не так боится; вот если бы отец был жив!..

Способности же имеет большие, благодаря богу; я все сама с ним занимаюсь, иногда даже по четыре часа сряду. Он у меня очень бегло читает по-русски и пофранцузски, половину же священной истории, что с вопросами и ответами, наизусть слово в слово знает.

От восхищения я не мог произнести ни слова. Сама занимается! Скажите, много ли таких матерей в нынешнем свете? Однако и она, при всем своем уме, чувствует, что без мужа, без главы дома, трудно обойтись!

IV

С этого дня, проведенного мною в Плющихе с неизобразимым удовольствием, я чаще и чаще стал ездить туда, и всякий мой приезд по часу и более беседовал с Марьей Дмитриевной. Из этих бесед я вполне убедился, что она наделена добродетельным сердцем и основательным умом, потому что обо всех предметах рассуждает солидно, и в особенности очень хорошо говорит о нравственности. Прошло уже два месяца с того дня, как я в первый раз увидел ее. Раздел приближался к окончанию.

Раздельный акт был совершен в гражданской палате и подписан. Разделят серебро, и все разъедутся в разные стороны, и опустеет Плющиха!..

Однажды я не спал почти всю ночь напролет. Срок моего отпуска был на исходе. Я представил себе дальность и неудобства дороги и свое одиночество. Это одиночество так и щемило мое сердце. Я подумал, может стать-ся, никогда более не увижу Марьи Дмитриевны; мысль, что если приказчик мой обману-

вает меня в моем присутствии, что же должно быть, когда меня нет в деревне?.. Все это, взятое вместе, заставило меня окончательно решить мое будущее.

Под утро я встал с постели и начал ходить вдоль и поперек комнаты.

Остаться в деревне или ехать в Петербург? Служить или выйти в отставку и жениться?

В этот раз «выйти в отставку» уже не представлялось мне так страшно, как первый раз, когда мне это пришло в голову.

«Коллежского асессора я получил недавно, столоначальником сделан недавно. Что же? до надворного советника еще далеко, до начальника отделения подавно.

Перспектива есть, но не близкая. К тому же сидячая жизнь, петербургский климат... Но... согласится ли она принадлежать мне? Ее муж был начальником отделения! Впрочем, что ж? — я не какой-нибудь нищий, имею свой кусок хлеба и чин почетный!.. Предложение — легко сказать — и подумать, так голова закружится... Ну, как богу угодно, так и будет!» Несколько дней спустя после этого размышления, часу в шестом вечера, по окон-

чании раздела серебра, Марья Дмитриевна вышла пройтись в сад, или в огороженную плетнем четверугольную площадь, которую все называли садом. На этой площади, впрочем, довольно обширной, росло несколько яблонь, несколько лип, несколько елей, дубков и тянулись две длинные аллеи разросшихся акаций. В этих двух аллеях только и можно было прогуливаться, ибо остальная половина четверугольника предполагалась только к распланированию. В правой стороне между зеленью мелькало прекрасное каменное здание с небольшой деревянной башенкой, на которой вертелся железный петух, раскрашенный разными цветами: это оранжерея. В середине четверугольника красовался пруд изрядной величины, в котором Дарья Дмитриевна удила рыбу.

Вечер был теплый, несмотря на то, что сентябрь приближался к исходу. Желтые листья грудами лежали на дорожках... Господи, как я живо все это помню, далее вереницу диких уток, промелькнувших по небу! Марья Дмитриевна шла по дорожке, обсаженной акациями, шла тихо и задумчиво, в чепце, убранном

розовыми лентами, в том самом чепце, в котором я видел ее в первый раз.

Не замеченный ею, я подошел к ней сзади.

— Вы гуляете, Марья Дмитриевна? — спросил я ее дрожащим голосом.

Она испугалась и немного вскрикнула.

— Ах, это вы!

— Точно я, я, Марья Дмитриевна... вы, вы так легко одеты; теперь вечера не летние: можно простудиться.

— Ничего-с, и простужусь, так жалеть будет некому!

— Как можно! И перед богом грешно не беречь своего здоровья.

Она ничего не отвечала, и я молчал.

— Ваш раздел теперь совсем кончен, Марья Дмитриевна?

— Да, совсем-с.

— А что, вы отсюда скоро уедете?

— Предполагаю очень скоро. У меня кровь так и застыла.

— А куда вы изволите поехать, Марья Дмитриевна?

— В свою прежнюю деревню Маматовку, верст за двести отсюда. Мне давно пора бы во-

свояси. Ах, боже мой! и хлеб-то нынешний год без меня убрали!

— Прощайте, Марья Дмитриевна! может быть, мы с вами более не увидимся. И я также скоро отправляюсь к должности, в Петербург.

Я шел по левую ее сторону и, произнеся это, едва осмелился искоса взглянуть на нее. Мне показалось, что на ее глазе дрожала слеза.

— Вы, верно, соскучили здесь! очень естественно: кто пристрастился к светским удовольствиям...

— Нет, не говорите этого, Марья Дмитриевна, — непреодолимое влечение приковывает меня к здешним местам.

— Почему же вы, позвольте спросить, не останетесь здесь?

— Я человек служащий, чиновник, а скоро конец моему отпуску; служба не шутит-с.

— Вы, благодаря бога, обеспечены. Почему же вам не выйти в отставку: вы свой долг сделали — послужили. Оставайтесь навсегда с нами... Здесь, я вам скажу, не то, чтобы в глуши: дворянство отличное, образованное.

— Оно точно так, да я человек совершенно

одиноким. Матушка моя скончалась, я без нее совсем осиротел, и хозяйством заняться некому.

Я чувствовал, что голос изменял мне, я оробел, а она не вымолвила ни слова, ни слова...

Мы шли таким образом несколько минут молча и подошли к самому берегу пруда.

Отсюда следовало повернуть назад, ибо дорожек ни вправо, ни влево не было.

— Марья Дмитриевна, — начал я, когда мы повернули; сердце у меня так билось, что пересказать невозможно, — Марья Дмитриевна, я давно, Марья Дмитриевна, желал поговорить с вами... я... с первой минуты, как увидел вас, почувствовал такое, что если бы пересказать... — да вдруг и бахнул: — от вас, Марья Дмитриевна, зависит мое счастье.

И чуть не умер от страха; у меня совсем потемнело в глазах, а после того меня так в пот и бросило. Будто сквозь сон услышал я эти восклицания:

— Ах, ах! Боже мой! что это вы говорите... ах!

Я открыл глаза и взглянул на нее. В лице

ее не было ни кровинки. К счастью, что тут случилась скамейка: она не села, а в совершенном изнеможении опустилась на нее. Я испугался, бросился к ней и спросил:

— Не дурно ли вам?

— Ничего, ничего... ах, обдумали ли вы то, что сказали?

— Обдумал, ей-богу, обдумал, Марья Дмитриевна!

Она заплакала. Я не смел переводить дыхание. Вдруг она встала, посмотрела на меня с чувством и произнесла:

— На все есть предопределение, теперь я это ясно вижу. И я только что взглянула на вас, почувствовала необыкновенное биение сердца. Видно, так богу угодно!

После сих слов у меня все предметы перед глазами стали яснее.

— Позвольте же поцеловать вашу ручку. — Я взял ее руку и поцеловал; она поцеловала меня в щеку.

— Но сегодня еще не объявляйте этого. А вы будете любить моего Мишунчика? вы замените ему отца?

— Не сомневайтесь, ради бога, Марья

Дмитриевна, успокойте меня на этот счет; я буду любить его больше родного сына.

Она еще раз и еще с большим чувством посмотрела на меня и сказала:

— Благодарю вас; сердце матери бессильно вам выразить всего: вы так меня утешили, что я не могу прийти в себя, — примите мою благодарность.

Влюбленное состояние скрыть невозможно, и потому, вероятно, многие из родственников Марьи Дмитриевны и из посторонних, находившихся в Плющихе, замечали наши взаимные друг к другу склонности. Тут нет ничего мудреного; однако, когда через два дня после объяснения нашего с нею было объявлено, что я жених, а она невеста, то это поразило многих, как нечаянность.

— Вишь плут какой, — говорил Илья Петрович, — и от меня, своего старого товарища и приятеля, скрывался! Поздравляю, братец! к нам в роденьку записываешься. Черт возьми, это недурно: деревни ваши с нею рядом, земля с землей, так вам и размежевываться теперь не нужно. Муж и жена — одна сатана.

Матвей Иванович, уезжая в Петербург и

пожимая мне руку, говорил:

— От души желаю вам счастья, потому что семейственное благополучие дороже всякой славы и честолюбивого поприща, а уж какая милая и тонкая дама Марья Дмитриевна и какие у нее хозяйственные распоряжения!.. Прошу о продолжении знакомства, а я уж никогда не забуду самых приятнейших дней, проведенных с вами.

— Благодарю вас. Возьмите на себя труд сказать Петру Петровичу, чтобы он принял меня в свое родственное дружество.

— Непременно, все исполню, как вы приказываете. — Он обнял меня и поцеловал в грудь.

Христиан Францевич, моргая левым глазом и обняв правой рукой мою талию, говорил:

— Раздел-то наш свадебкой покончится! Право, славно! Вот запируем! Да, батюшка, вы от нас не отделаётесь. Выставляйте-ка на стол шампанского. Скажите, кажется, Марье Дмитриевне достались мельничные камни с железными обручами? Я у себя в деревне строю мельницу, подарите-ка их мне. У вас ведь все

мельницы в надлежащем устройстве. Вам за-
чем эти камни?

— Извольте, с большим удовольствием, —
произнес я, не зная сам, что говорю от радо-
сти...

Скоро Плющиха опустела. Все, что можно
было вывезть из нее, вывезли, не исключая
даже каменного столба, стоявшего на лугу
против оранжереи, на котором были устрое-
ны солнечные часы. Осталась одна оранже-
рея без растений да стены дома с прогнивши-
ми оконными рамами, в которых половина
стекло была перебитая.

По прошествии трех недель, считая от вы-
езда наследников из Плющихи, я сделался
счастливым супругом Марьи Дмитриевны, а
вскоре получил и увольнение от службы.

Что ни говорите, — это судьба!

Два года жил я душа в душу с моей Марьей
Дмитриевной в совершенном уединении, до-
вольстве и тишине. На третий год познако-
мился с нами приехавший из О... губернии
родственник нашей близкой соседки, отстав-
ной штабс-ротмистр, высокого роста, плечи-
стый, с нафабранными усами...

Этим словом оканчивается отрывок из рукописи помещика, случайно отысканный мною.

Продолжения не оказалось. Я позволил себе только небольшие сокращения и поправки в языке.